

◆ ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА ◆

МИХАИЛ
ШОЛОХОВ



Поднятая целина



МОСКВА

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Ш78

Оформление серии *Н. Ярусовой*

В оформлении обложки использованы фрагменты агитационного плаката конца 1920-х гг

Шолохов, Михаил Александрович.

Ш78 Поднятая целина : роман / Михаил Шолохов. — Москва : Эксмо, 2025. — 640 с. — (Всемирная литература (с картинкой)).

ISBN 978-5-04-194956-3

Михаил Александрович Шолохов (1905—1984) — советский писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе.

Роман «Поднятая целина» рассказывает об одном из самых трагичных периодов отечественной истории — коллективизации на Дону. Погрузитесь в смесь безжалостной исторической действительности и ярких человеческих чувств, отражающих все грани жизни в те годы.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-194956-3

© Шолохов М.А., наследники, 2025
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2025



КНИГА ПЕРВАЯ



ГЛАВА I

В конце января, овейанные первой оттепелью, хорошо пахнут вишневые сады. В полдень где-нибудь в затишке (если пригревает солнце) грустный, чуть внятный запах вишневой коры поднимается с пресной сыростью талого снега, с могучим и древним духом проглянувшей из-под снега, из-под мертвой листвы земли.

Тонкий многоцветный аромат устойчиво держится над садами до голубых потемок, до поры, пока не просунется сквозь голызины ветвей крытый прозеленью рог месяца, пока не кинут на снег жирующие зайцы опушенных крапин следов...

А потом ветер принесет в сады со степного гребня тончайшее дыхание опаленной морозами полыни, заглохнут дневные запахи и звуки, и по чернобылу, по бурьянам, по выцветшей на стернях брице, по волнистым буграм зяби неслышно, серой волчицей придет с востока ночь, — как следы, оставляя за собой по степи выволочки сумеречных теней.

* * *

По крайнему к степи проулку январским вечером 1930 года въехал в хутор Гремячий Лог верховой. Возле речки он остановил усталого, курчаво заиневшего в пахах коня, спешился. Над чернью садов, тянувшихся по обеим сторонам узкого проулка, над островами тополевых левад высоко стоял ущербленный месяц. В проулке было темно и тихо. Где-то за речкой голосисто подвывала собака, желтел огонек. Всадник жадно хватнул ноздрями морозный воздух, не спеша снял перчатку, закурил, потом подтянул подпругу, сунул пальцы под потник и, ощутив горячую, запотевшую конскую спину, ловко вскинул в седло свое большое тело. Мелкую, не замерзающую и зимой речушку стал переезжать вброд. Конь, глухо звякая подковами по устилавшим дно голышам, на ходу потянулся

было пить, но всадник заторопил его, и конь, ёкая селезенкой, выскочил на пологий берег.

Заслышав встречу себе говор и скрип полозьев, всадник снова остановил коня. Тот на звук сторожко двинул ушами, повернулся. Серебряный нагрудник и окованная серебром высокая лука казачьего седла, попав под лучи месяца, вдруг вспыхнули в темени проулка белым, разящим блеском. Верховой кинул на луку поводья, торопливо надел висевший до этого на плечах казачий башлык верблюжьей шерсти, закутал лицо и поскакал машистой рысью. Миновав подводу, он по-прежнему поехал шагом, но башлыка не снял.

Уж въехав в хутор, спросил у встречной женщины:

— А ну, скажи, тетка, где тут у вас Яков Островнов живет?

— Яков Лукич-то?

— Ну да.

— А вот за тополем его курень, крытый черепицей, видите?

— Вижу. Спасибо.

Возле крытого черепицей просторного куреня спешился, ввел в калитку коня и, тихо стукнув в окно рукоятью плети, позвал:

— Хозяин! Яков Лукич, выйди-ка на-час¹.

Без шапки, пиджак — внапашку, хозяин вышел на крыльцо; всматриваясь в приезжего, сошел с порожков.

— Кого нелегкая принесла? — улыбаясь в седеющие усы, спросил он.

— Не угадаешь, Лукич? Ночевать пускай. Куда бы коня поставить в теплое?

— Нет, дорогой товарищ, не призначу. Вы не из рика будете? Не из земотдела? Что-то угадываю... Голос ваш, сдастся мне, будто знакомый...

Приезжий, морща бритые губы улыбкой, раздвинул башлык.

— Полóвцева помнишь?

И Яков Лукич вдруг испуганно озирнулся по сторонам, побледнел, зашептал:

— Ваше благородие! Откель вас?.. Господин есаул!.. Лощадку мы зараз определим... Мы в конюшню... Сколько лет-то минуло...

— Ну-ну, ты потише! Времени много прошло... Попонка есть у тебя? В доме у тебя чужих никого нет?

Приезжий передал повод хозяину. Конь, лениво повину-

¹ На - ч а с — на минутку.

ясь движению чужой руки, высоко задирая голову на вытянутой шее и устало волоча задние ноги, пошел к конюшне. Он звонко стукнул копытом по деревянному настилу, всхрапнул, почуяв обжитый запах чужой лошади. Рука чужого человека легла на его хруп, пальцы умело и бережно освободили натертые десны от пресного железа удил, и конь благодарно припал к сену.

— Подпруги я ему отпустил, нехай постоит оседланный, а трошки охолонет — тогда расседлаю, — говорил хозяин, заботливо накидывая на коня нахолодавшую попонку. А сам, ошупав седловку, уже успел определить по тому, как была затянута чересподушечная подпруга, как до отказа свободно распущена соединяющая стременные ремни скошевка, что гость приехал издалека и за этот день сделал немалый пробег.

— Зерно-то водится у тебя, Яков Лукич?

— Чудок есть. Напоим, дадим зернеца. Ну, пойдёмте в куреня, как вас теперича величать и не знаю... По-старому — отвык и вроде неудобно... — неловко улыбался в темноте хозяин, хотя и знал, что улыбка его не видна.

— Зови по имени-отчеству. Не забыл? — отвечал гость, первый выходя из конюшни.

— Как можно! Всю германскую вместе сломали, и в эту пришлось... Я об вас часто вспоминал, Александр Анисимович. С этих пор, как в Новороссийском расстрались с вами, и слуху об вас не имели. Я так думал, что вы в Турцию с казаками уплыли.

Вошли в жарко натопленную кухню. Приезжий снял башлык и белого курпя¹ папаху, обнажив могучий угловатый череп, прикрытый редким белесым волосом. Из-под крутого, волчьего склада, лысеющего лба он бегло оглядел комнату и, улыбочиво сощутив светло-голубые глазки, тяжко блестевшие из глубоких провалов глазниц, поклонился сидевшим на лавке бабам — хозяйке и снохе.

— Здорово живете, бабочки!

— Слава Богу, — сдержанно ответила ему хозяйка, выжидательно, вопрошающе глянув на мужа: «Что это, дескать, за человека ты привел и какое с ним нужно обхождение?»

— Соберите повечерять, — коротко приказал хозяин, пригласив гостя в горницу к столу.

Гость, хлебая щи со свиной, в присутствии женщин вел разговор о погоде, о сослуживцах. Его огромная, будто из кам-

¹ Кур п я й (курпей) — мерлушка.

ня тесанная, нижняя челюсть трудно двигалась; жевал он медленно, устало, как приморенный бык на лежке. После ужина встал, помолился на образа в запыленных бумажных цветах и, стряхнув со старенькой, тесной в плечах толстовки хлебные крошки, проговорил:

— Спасибо за хлеб-соль, Яков Лукич! Теперь давай потолкуем.

Сноха и хозяйка торопливо приняли со стола; повинувшись движению бровей хозяина, ушли в кухню.

ГЛАВА II

Секретарь райкома партии, подслеповатый и вялый в движениях, присел к столу, искоса посмотрев на Давыдова, и, жмурясь, собирая под глазами мешковатые складки, стал читать его документы.

За окном, в телефонных проводах, свистал ветер, на спине лошади, привязанной недоуздом к палисаднику, по самой кобаржине кособоко прогуливалась — и что-то клевала — сорока. Ветер заламывал ей хвост, поднимал на крыло, но она снова садилась на спину старчески изможденной, ко всему безучастной клячи, победно вела по сторонам хищным глазком. Над станицей низко летели рваные хлопья облаков. Изредка в просвет косо ниспадали солнечные лучи, вспыхивал — по-летнему синий — клочок неба, и тогда видневшийся из окна изгиб Дона, лес за ним и дальний перевал с крохотным ветряком на горизонте обретали волнующую мягкость рисунка.

— Так ты задержался в Ростове по болезни? Ну, что ж... Остальные восемь двадцатипяти тысячников приехали три дня назад. Митинг был. Представители колхозов их встречали. — Секретарь думаяще пожевал губами. — Сейчас у нас особенно сложная обстановка. Процент коллективизации по району — четырнадцать и восемь десятых. Все больше ТОЗ¹. За кулацко-зажиточной частью еще остались хвосты по хлебозаготовкам. Нужны люди. Оч-чень! Колхозы посылали заявки на сорок три рабочих, а прислали вас только девять.

И из-под припухлых век как-то по-новому, пытливо и долго, посмотрел в зрачки Давыдову, словно оценивая, на что способен человек.

¹ ТОЗ — товарищество по совместной обработке земли.

— Так ты, дорогой товарищ, стало быть, слесарь? Оч-чень хорошо! А на Путиловском давно работаешь? Кури.

— С демобилизации. Девять лет. — Давыдов протянул руку за папироской, и секретарь, уловив взглядом на кисти Давыдова тусклую синеву татуировки, улыбнулся краешками отвислых губ.

— Краса и гордость? Во флоте был?

— Да.

— То-то вижу якорек у тебя...

— Молодой был, знаешь... с зеленью и глупцой, вот и вытравил... — Давыдов досадливо потянул книзу рукав, думая: «Эка, глазастый ты на что не надо. А вот хлебозаготовки-то едва не просмотрел!»

Секретарь помолчал и как-то сразу согнал со своего болезненно одутловатого лица ничего не значащую улыбку гостеприимства.

— Ты, товарищ, поедешь сегодня же в качестве уполномоченного райкома проводить сплошную коллективизацию. Последнюю директиву крайкома читал? Знаком? Так вот, поедешь ты в Гремяченский сельсовет. Отдыхать уж после будешь, сейчас некогда. Упор — на стопроцентную коллективизацию. Там есть карликовая артель, но мы должны создать колхозы-гиганты. Как только организуем агитколонну, пришлем ее и к вам. А пока езжай и на базе осторожного ущемления кулачества создавай колхоз. Все бедняцко-средняцкие хозяйства у тебя должны быть в колхозе. Потом уже создадите и обобщественный семфонд на всю площадь колхозного посева в тысяча девятьсот тридцатом году. Действуй там осторожно. Средняка ни-ни! В Гремячем — партиячка из трех коммунистов. Секретарь ячейки и председатель сельсовета — хорошие ребята, красные партизаны в прошлом, — и, опять пожевав губами, добавил: — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Понятно? Политически малограмотны, могут иметь промахи. В случае если возникнут затруднения, езжай в район. Эх, телефонной связи еще нет, вот что плохо! Да, еще: секретарь ячейки там краснознаменец, резковат, весь из углов, и... все острые.

Секретарь побарабанил по замку портфеля пальцами и, видя, что Давыдов встает, с живостью сказал:

— Обожди, еще вот что: ежедневно коннонарочным шли сводки, подтяни там ребят. Сейчас зайди к нашему заводу и езжай. Я скажу, чтобы тебя отправили на риковских лошадях. Так вот, гони вверх до ста процент коллективизации. По про-

центу и будем расценивать твою работу. Создадим гигант-колхоз из восемнадцати сельсоветов. Каково? Сельскохозяйственный Краснопутиловский, — и улыбнулся самому понравившемуся сравнению.

— Ты что-то мне говорил насчет осторожности с кулаком. Это как надо понимать? — спросил Давыдов.

— А вот как, — секретарь покровительственно улыбнулся, — есть кулак, выполнивший задание по хлебозаготовкам, а есть — упорно не выполняющий. Со вторым кулаком дело ясное: сто седьмую статью ему, и — крышка. А вот с первым сложнее. Как бы ты, примерно, с ним поступил?

Давыдов подумал...

— Я бы ему — новое задание.

— Это здорово! Нет, товарищ, так не годится. Этак можно подорвать всякое доверие к нашим мероприятиям. А что скажет тогда середняк? Он скажет: «Вот она какая, Советская власть! Туда-сюда мужиком крутит». Ленин нас учил серьезно учитывать настроения крестьянства, а ты говоришь «вторичное задание». Это, брат, мальчишество.

— Мальчишество? — Давыдов побагровел. — Сталин, как видно... ошибся, по-твоему, а?

— При чем тут Сталин?

— Речь его читал на конференции марксистов, этих, как их... Ну, вот земельным вопросом они... да как их, черт? Ну, земельников, что ли!

— Аграрников?

— Вот-вот!

— Так что же?

— Спроси-ка «Правду» с этой речью.

Управдел принес «Правду». Давыдов жадно шарил глазами.

Секретарь, выжидательно улыбаясь, смотрел ему в лицо.

— Вот. Это как?.. «...Раскулачивания нельзя было допускать, пока мы стояли на точке зрения ограничения...» Ну, и дальше... да вот: «А теперь? Теперь — другое дело. Теперь мы имеем возможность повести решительное наступление на кулачество, сломить его сопротивление, ликвидировать его как класс...» Как класс, понял? Почему же нельзя дать вторично задание по хлебу? Почему нельзя совсем его — к ногтю?

Секретарь смахнул с лица улыбку, посерьезнел.

— Там дальше сказано, что раскулачивает бедняцко-средняцкая масса, идущая в колхоз. Не так ли? Читай.

— Эка ты!

— Да ты не экай! — озлобился секретарь, и даже голос у него дрогнул. — А ты что предлагаешь? Административную меру, для каждого кулака без разбора. Это — в районе, где только четырнадцать процентов коллективизации, где середняк пока только собирается идти в колхоз. На этом деле можно в момент свернуть голову. Вот такие приезжают, без знания местных условий... — Секретарь сдержался и уже тише продолжал: — Дров с такими воззрениями ты можешь наломать сколько хочешь.

— Это как тебе сказать...

— Да уж будь спокоен! Если бы необходима и своевременна была такая мера, крайком прямо приказал бы нам: «Уничтожить кулака!..» И по-жа-луй-ста! В два счета. Милиция, весь аппарат к вашим услугам... А пока мы только частично, через нарсуд, по сто седьмой статье караем экономически кулака — укрывателя хлеба.

— Так что же, по-твоему, батрачество, беднота и середняк против раскулачивания? За кулака? Вести-то их на кулака надо?

Секретарь резко щелкнул замком портфеля, сухо сказал:

— Тебе угодно по-своему истолковывать всякое слово вождя, но за район отвечает бюро райкома, я персонально. Потрудись там, куда мы тебя посылаем, проводи нашу линию, а не избобретенную тобой. А мне, извини, дискутировать с тобой некогда. У меня помимо этого дела. — И встал.

Кровь снова густо прихлынула к щекам Давыдова, но он взял себя в руки и сказал:

— Я буду проводить линию партии, а тебе, товарищ, рубану напрямик, по-рабочему: твоя линия ошибочная, политически неправильная, факт!

— Я отвечаю за свою... А это «по-рабочему» — старо, как...

Зазвенел телефон. Секретарь схватил трубку. В комнату начал сходить народ, и Давыдов пошел к заворгу.

«Хромает он на правую ножку... Факт! — думал он, выходя из райкома. — Почитаю опять всю речь аграрникам. Неужели я ошибаюсь? Нет, братишка, извини! Через твою терпимость веры ты и распустил кулака. Еще говорили в окружке: «дельный парень», а за кулаками — хлебные хвосты. Одно дело ущемлять, а другое — с корнем его как вредителя. Почему не ведешь массу?» — мысленно продолжая спор, обращался он к секретарю. Как всегда, наиболее убедительные доводы приходили после. Там, в райкоме, он вгорячах, волнуясь, хватал первое попавшееся под руку возражение. Надо бы похлад-

нокровней. Он шел, шлепая по замерзшим лужам, спотыкаясь о смерзки бычьего помета на базарной площади.

— Жалко, что кончили скоро, а то бы я тебя прижал, — вслух проговорил Давыдов и досадливо смолк, видя, как встречающаяся женщина проходит мимо него с улыбкой.

* * *

Забежав в Дом казака и крестьянина, Давыдов взял свой чемоданчик и, вспомнив, что основной багаж его, кроме двух смен белья, носков и костюма, это — отвертки, плоскогубцы, рашпиль, крейцмессель, кронциркуль, шведский ключ и прочий немудрый инструмент, принадлежащий ему и захваченный из Ленинграда, улыбнулся. «Черта с два его использую! Думал, может, тракторишко подлечить, а тут и тракторов-то нет. Так, должно быть, и буду мотаться по району уполномоченным. Подарю какому-нибудь колхознику-кузнецу, прах его дери», — решил он, бросая чемодан в сани.

Сытые, овсяные лошади рика легко понесли тавричанские сани со спинкой, крикливо окрашенной пестрыми цветами. Давыдов озяб, едва лишь выбрались за станицу. Он тщетно кутал лицо в потертый барашковый воротник пальто, нахлобучил кепку: ветер и сырая изморозь проникали за воротник, в рукава, знобили холодом. Особенно мерзли ноги в скороходовских стареньких ботинках.

До Гремячего Лога от станицы двадцать восемь километров безлюдным гребнем. Бурый от подтаявшего помета шлях лежит на вершине гребня. Кругом — не обнять глазом — снежная целина. Жалко горбятся засыпанные макушки чернобыла и татарника. Лишь со склонов балок суглинистыми глазищами глядит на мир земля; снег не задержался там, сдуваемый ветром, зато теклины балок и логов доверху завалены плотно осевшими сугробами.

Давыдов долго бежал, держась за грядущку саней, пытаясь согреть ноги, потом вскочил в сани и, притаившись, задремал. Повизгивали подреза полозьев, с сухим хрустом вонзались в снег шипы лошадиных подков, позванивал валеk у правой дышловой. Иногда Давыдов из-под запушенных инеем век видел, как фиолетовыми зарницами вспыхивали на солнце крылья стремительно поднимавшихся с дороги грачей, и снево-сладкая дрема смежала ему глаза.

Он проснулся от холода, взявшего в тиски сердце, и, от-

крыв глаза, сквозь блещущие радужным разноцветьем слезинки увидел холодное солнце, величественный простор безмолвной степи, свинцово-серое небо у кромки горизонта и на белой шапке кургана невдалеке — рдяно-желтую, с огнистым отливом, лису. Лиса мышковала. Она становилась вдыбки, извиваясь, прыгала вверх и, припадая на передние лапы, рыла ими, окутываясь сияющей серебряной пылью, а хвост ее, мягко и плавно скользнув, ложился на снег красным языком пламени.

В Гремячий Лог приехали перед вечером. На просторном дворе сельсовета пустовали пароконные сани. Возле крыльца, покуривая, толпилось человек семь казаков. Лошади с шершавой, смерзшейся от пота шерстью остановились около крыльца.

— Здравствуйте, граждане! Где тут конюшня?

— Доброго здоровья, — за всех ответил пожилой казак, донся руку до края заячьей папахи. — Конюшня, товарищ, вон она, которая под камышом.

— Держи туда, — приказал Давыдов кучеру и соскочил с саней, приземистый, плотный. Растирая щеки перчаткой, он пошел за санями.

Казаки тоже направились к конюшне, недоумевая, почему приезжий, по виду служащий, говорящий на жесткое российское «Г», идет за санями, а не в сельсовет.

Из конюшенных дверей теплыми клубами валил навозный пар. Риковский кучер остановил лошадей. Давыдов уверенно стал освобождать валеки от постромочной петли. Толпившиеся возле казаки переглянулись. Старый, в белой бабьей шубе дед, соскребая с усов сосульки, лукаво прижмурился.

— Гляди, брыкнет, товарищ!

Давыдов, освободивший из-под репицы конского хвоста шлею, повернулся к деду, улыбаясь почернелыми губами, выказывая при улыбке нехватку одного переднего зуба.

— Я, папаша, пулеметчиком был, не на таких лошадаках мотался!

— А зуба-то нет, случаем не кобыла выбила? — спросил один, черный, как грач, по самые ноздри заросший курчавой бородой.

Казаки беззлобно засмеялись, но Давыдов, проворно снимая хомут, отшутился:

— Нет, зуба лишился давно, по пьяному делу. Да оно и лучше: бабы не будут бояться, что укушу. Верно, дед?

Шутку приняли, и дед с притворным сокрушением покачал головой:

— Я, парень, откусался. Мой зуб-то уж какой год книзу глядит...

Чернобородый казак ржал косячным жеребцом, разевая белозубую пасть, и все хватался за туго перетянувший чекмень красный кушак, словно опасаясь, что от смеха рассыплется.

Давыдов угостил казаков папиросами, закурил, пошел в сельсовет.

— Там, там председатель, иди. И секретарь нашей партии там, — говорил дед, неотступно следуя за Давыдовым.

Казак, в две затяжки поглощая папиросы, шли рядом. Им шибко понравилось, что приезжий не так, как обычно кто-либо из районного начальства: не соскочил с саней и — мимо людей, прижав портфель, в сельсовет, а сам начал распрягать коней, помогая кучеру и обнаруживая давнишнее умение и сноровку в обращении с конем. Но одновременно это и удивляло.

— Как же ты, товарищ, не гребуешь с коньми вожжаться? Разве ж это, скажем, служащего дело? А кучер на что? — не вытерпел чернобородый.

— Это нам дюже чудно, — откровенно признался дед.

Ответить Давыдов не успел.

— Да он коваль! — разочарованно воскликнул молодой желтоусый казачишка, указывая на руки Давыдова, покрытые на ладонях засвинцованной от общения с металлом кожей, с ногтями в застарелых рубцах.

— Слесарь, — поправил Давыдов. — Ну, вы чего идете в Совет?

— Из интересу, — за всех отвечал дед, останавливаясь на нижней ступеньке крыльца. — Любопытствуем, из чего ты к нам приехал? Ежели обратно по хлебозаготовкам...

— Насчет колхоза.

Дед протяжно и огорченно свистнул, первый повернул от крыльца.

* * *

Из низкой комнаты остро пахло кислым теплом оттаявших овчинных полушубков и дровяной золой. Возле стола, подкручивая фитиль лампы, лицом к Давыдову стоял высокий, прямоплечий человек. На защитной рубахе его червонел

орден Красного Знамени. Давыдов догадался, что это и есть секретарь гремяченской партячейки.

— Я — уполномоченный райкома. Ты — секретарь ячейки, товарищ?

— Да, я секретарь ячейки Нагульнов. Садитесь, товарищ, председатель Совета сейчас придет. — Нагульнов постучал кулаком в стену, подошел к Давыдову.

Был он широк в груди и по-кавалерийски клешеног. Над желтоватыми глазами его с непомерно большими, как смолой налитыми, зрачками срослись разлзтые черные брови. Он был бы красив той неброской, но запоминающейся мужественной красотой, если бы не слишком хищный вырез ноздрей небольшого ястребиного носа, не мутная наволочь в глазах.

Из соседней комнаты вышел плотный казачок в козьей серой папахе, сбитой на затылок, в куртке из шинельного сукна, казачьих с лампасами шароварах, заправленных в белые шерстяные чулки.

— Это вот и есть председатель Совета Андрей Размётнов.

Председатель, улыбаясь, пригладил ладонью белесые и курчавые усы, с достоинством протянул руку Давыдову.

— А вы кто такой будете? Уполномоченный райкома? Ага. Ваши документы... Ты видал, Макар? Вы, должно быть, по колхозному делу? — Он рассматривал Давыдова с наивной беззастенчивостью, часто мигая ясными, как летнее небушко, глазами. На смуглом, давно не бритом лице его с косо опоясавшим лоб голубым шрамом явно сквозило нетерпеливое ожидание.

Давыдов присел к столу, рассказал о задачах, поставленных партией по проведению двухмесячного похода за сплошную коллективизацию, предложил завтра же провести собрание бедноты и актива.

Нагульнов, освещая положение, заговорил о гремяченском ТОЗ.

Размётнов и его слушал так же внимательно, изредка вставляя фразу, не отнимая ладони от щеки, заплывшей коричневым румянцем.

— Тут у нас есть называемое товарищество по совместной обработке земли. Так я скажу вам, товарищ рабочий, что это есть одно измывание над коллективизацией и голый убыток Советской власти, — говорил Нагульнов, заметно волнуясь. — В нем состоит восемнадцать дворов — одна горькая беднота. И что же выходит из этого? Обязательно надсмешка. Сложились они, и на восемнадцать дворов у них — четыре лошади и

одна пара быков, а едоков сто семь. Как им надо оправдываться перед жизнью? Им, конечно, дают долгосрочные кредиты на покупку машин и тягла. Они кредиты берут, но отдать их не смогут и за долгий срок. Зараз объясню — почему: будь у них трактор — другой разговор, но трактор им не дали, а на быках не скоро разбогатеешь. Еще скажу, что они порченую ведут политику, и я их давно бы разогнал за то, что они подлегли под Советскую власть, как куршивый теленок, сосать — сосут, а росту ихнего нету. И есть такие промеж них мнения: «Э, да нам все равно дадут! А брать с нас за долги нечего». Отсюда у них развал в дисциплине, и ТОЗ этот завтра будет упокойником. Это — дюже верная мысль: всех собрать в колхоз. Это будет прелесть, а не жизнь! Но казаки — народ закоснелый, я вам скажу, и его придется ломать...

— Из вас кто-нибудь состоит в этом товариществе? — оглядывая собеседников, спросил Давыдов.

— Нет, — отвечал Нагульнов. — Я в двадцатом году вошел в коммуну. Она впоследствии времени распалась от шкурничества. Я отказался от собственности. Я зараженный злобой против нее, а поэтому отдал быков и инвентарь соседней коммуне номер шесть (она и до сих пор существует), а сам с женой ничего не имею. Размётнову нельзя было подать такой пример: он сам вдовый, у него одна толечко старуха мать. Вступить ему — это нареканий, как орешев, не оберешься. Скажут: «Навязал старуху на нас, как на цыгана матерю, а сам в поле не работает». Тут — тонкое дело. А третий член нашей ячейки — он зараз в отъезде — безрукий. Молотилкой ему руку оторвало. Ну, он и совестится идтить в артель, едоков там, дескать, без меня много.

— Да, с ТОЗОм нашим беда, — подтвердил Размётнов. — Председатель его, Аркашка-то Лосев, плохой хозяин. Ведь наши же кого выбирать! Признаться, мы с этим делом маху дали. Не надо бы его допускать на должность.

— А что? — спросил Давыдов, просматривая поимущественный список кулацких хозяйств.

— А то, — улыбаясь, говорил Размётнов, — больной он человек. Ему бы по линии жизни купцом быть. Этим он и хворает: все бы он менял да перепродовывал. Разорил ТОЗ вчистую! Бугая племенного купил — вздумал променять на мотоциклу. Окрутил своих членов, с нами не посоветовался, глядим — везет со станции эту мотоциклу. Ахнули мы, за головы взялись! Ну, привез, а руководствовать ею никто не может. Да и на что она им? И смех и грех. В станицу ее возил. Там

знающие люди поглядели и говорят: «Дешевле ее выкрасить да выбросить». Не оказалось в ней таких частей, что только на заводе могут их сделать. Им бы в председатели Якова Лукича Островнова. Вон — голова! Пшеницу новую из Краснодара выписывал мелонопусой породы — в любой суховея выстаивает, снег постоянно задерживает на пашнях, урожай у него всегда лучше. Скотину развел породную. Хоть он трошки и кряхтит, как мы его налогом придавим, а хозяин хороший, похвальный лист имеет.

— Он, как дикий гусак среди свойских, все как-то на отшибе держится, на отдалке. — Нагульнов с сомнением покачал головой.

— Ну, нет! Он — свой человек, — убежденно заявил Размётнов.

ГЛАВА III

В ночь, когда к Якову Лукичу Островнову приехал его бывший сотенный командир есаул Половцев, был у них долгий разговор. Считался Яков Лукич в хуторе человеком большого ума, лисьей повадки и осторожности, а вот не удержался в стороне от яростно всполыхавшей по хуторам борьбы, коловертью втянуло его в события. С того дня и пошла жизнь Якова Лукича под опасный раскат...

Тогда, после ужина, Яков Лукич достал кيسет, присел на сундук, поджав ногу в толстом шерстяном чулке: заговорил — вылил то, что годами горько накопало на сердце:

— О чем толковать-то, Александр Анисимович? Жизнь никак не радует, не веселит. Вот энто трошки зачали казачки собираться с хозяйством, богатеть. Налоги в двадцать шестом али в двадцать седьмом году были, ну, сказать, относительные. А теперь опять пошло навыворот. У вас в станице как, про коллективизацию что слышать ай нет?

— Слышать, — коротко отвечал гость, слюнявя бумажку и внимательно исподлобья посматривая на хозяина.

— Стало быть, от этой песни везде слезьми плачут? Вот раз про себя вам скажу: вернулся я в двадцатом году из отступа. У Черного моря осталось две пары коней и все добро. Вернулся к голому куреню. С энтих пор работал день и ночь. Продразверсткой в первый раз обидели товарищи: забрали все зерно под гребло. А потом этим обидам и счет я потерял. Хоть счет-то им и можно произвесть: обидют и квиток выпишут,

чтоб не забыл. — Яков Лукич встал, полез рукой за зеркало и вытянул, улыбаясь в подстриженные усы, связку бумаг. — Вот они тут, квитки об том, что сдавал в двадцать первом году: а сдавал и хлеб, и мясу, и маслу, и кожи, и шерсть, и птицу, и целыми быками водил в заготконтору. А вот это окладные листы по единому сельскому налогу, по самооблогу и опять же квитки за страховку... И за дым из трубы платил, и за то, что скотина живая на базу стоит... Скоро этих бумажек мешок набираю. Словом, Александр Анисимович, жил я — сам возля земли кормился и других возля себя кормил. Хоть и не раз шкуру с меня сымали, а я опять же ею обрастал. Нажил спервоначалу пару бычат, они подросли. Одного сдал в кóзну на мясу. За швейную машину женину купил другого. Спустя время, к двадцать пятому году, подошла еще пара от своих коров. Стало у меня две пары быков и две коровы. Голосу меня не лишали, в будущие времена зачислили меня крепким середняком.

— А лошади-то у тебя есть? — поинтересовался гость.

— Погодите трошки, скажу и об лошадях. Купил я у соседки стригунка от чистых кровей донской кобылки (осталася одна на весь хутор), выросла кобыленка — ну, чистое дитё! Мала ростом, нестроевичка, полвершка¹ нету, а уж резва — неподобно! В округе получил я за нее на выставке сельской жизни награду и грамоту, как на племенную. Стал я к агрономам прислушаться, начал за землей ходить, как за хворой бабой. Кукуруза у меня первая в хуторе, урожай лучше всех. Я и зерно протравливал и снегозадержание делал. Сеял яровые только по зяби без весновспашки, пары у меня завсегда первые. Словом, стал культурный хозяин и об этом имею похвальный лист от окружного ЗУ, от земельного, словом, управления. Вот поглядите.

Гость мельком взглянул по направлению пальца Якова Лукича на лист с сургучной печатью, вправленный в деревянную рамку, висевшую возле образов рядом с портретом Ворошилова.

— Да, прислали грамоту, и агроном даже пучок моей пшеницы-гарновки возил в Ростов на показ властям, — с гордостью продолжал Яков Лукич. — Первые года сеял я пять десятин, потом, как оперился, начал дюжей хрип выгинать: по

¹ В дореволюционное время строевую лошадь, на которой казак должен был отбывать военную службу, принимали при условии, если она ростом была не меньше 2 аршин и 1/2 вершка.

три, по пять и по семь кругов¹ сеял, во как! Работал я и сын с женой. Два раза толечко поднимал работника в горячую пору. Советская власть энти года диктовала как? — сей как ни могá больше! Я и сеял, ажник кутница вылазила, истинный Христос! А зараз, Александр Анисимович, добродетель мой, верьте слову — боюсь! Боюсь, за эти семь кругов посева протянут меня в игольную ушку, обкулачат. Наш председатель Совета, красный партизан товарищ Размётнов, а попросту сказать Андрюшка, ввел меня в этот грех, крести его мать! «Сей, — говорит, бывало, — Яков Лукич, максимум, чего осилишь, подсобляй Советской власти, ей хлеб зараз дюже нужен». Сомневался я, а теперь запохаживается, что мне эта максима ноги на затылке петлей завяжет, побей Бог!

— В колхоз у вас записываются? — спросил гость. Он стоял возле лежанки, заложив руки за спину, широкоплечий, большоголовый и плотный, как чувал с зерном.

— В колхоз-то? Дюже пока не докучали, а вот завтра собрание бедноты будет. Ходили, перед тем как смеркаться, оповещали. Свои-то галду набили с самого Рождества: «Вступай да вступай». Но люди отказались наотруб, никто не вписался. Кто же сам себе лиходей? Должно, и завтра будут сватать. Говорят, нынче на-вечер приехал какой-то рабочий из района и будет всех сгонять в колхоз. Конец приходит нашей жизни. Наживал, пригоршни мозолей да горб нажил, а теперь добро отдай все в общий котел, и скотину, и хлеб, и птицу, и дом, стало быть? Выходит вроде: жену отдай дяде, а сам иди к..., не иначе. Сами посудите, Александр Анисимович, я в колхоз приведу пару быков (пару-то успел продать Союзмясе), кобылу с жеребенком, весь инвентарь, хлеб, а другой — вшей полон гашник. Сложимся мы с ним и будем барыши делить поровну. Да разве же мне-то не обидно?.. Он, может, всю жизнь на пече лежал да об сладком куске думал, а я... да что там гутарить! Во! — И Яков Лукич полоснул себя по горлу ребром шершавой ладони. — Ну, об этом кончим. Как вы проживаете? Служите зараз в какой учреждении или рукомеслом занимаетесь?

Гость подошел к Якову Лукичу, присел на табурет, снова стал вертеть сигарку. Он сосредоточенно смотрел в кисет, а Яков Лукич — на тесный воротник его старенькой толстовки, врезавшийся в бурую, туго налитую шею, на которой пониже кадыка по обеим сторонам напряженно набухали вены.

¹ Круг — четыре гектара.

— Ты служил в моей сотне, Лукич... Помнишь, как-то в Екатеринодаре, кажется при отступлении, был у меня разговор с казаками насчет Советской власти? Я еще тогда предупреждал казаков, помнишь? «Горько ошибетесь, ребята! Прижмут вас коммунисты, в бараний рог скрутят. Вспомняйтесь вы, да поздно будет». — Помолчал, в голубоватых глазах сузились крохотные, с булавочную головку, зрачки, и тонко улыбнулся. — Не на мое вышло? Я из Новороссийска не уехал со своими. Не удалось. Нас тогда предали, бросили добровольцы и союзники. Я вступил в Красную Армию, командовал эскадроном, по дороге на польский фронт... Такая у них комиссия была, фильтрационная, по проверке бывших офицеров... Меня эта комиссия от должности отрешила, арестовала и направила в Ревтрибунал. Ну, шлепнули бы товарищи, слов нет, либо в концентрационный лагерь. Догадываешься за что? Как-кой-то сукин сын, казуня¹, мой станичник, донес, что я участвовал в казни Подтелкова. По дороге в трибунал я бежал... Долго скрывался, жил под чужой фамилией, а в двадцать третьем году вернулся в свою станицу. Документ о том, что я когда-то был комэском, я сумел сохранить, попались хорошие ребята, — словом, я остался жив. Первое время меня таскали в округ, в политбюро² Дончека. Как-то отвертелся, стал учительствовать. Учительствовал до последнего времени. Ну, а сейчас... Сейчас другое дело. Еду вот в Усть-Хоперскую по делам, заехал к тебе как к старому полчанину.

— Учителем были? Та-ак... Вы — человек начитанный, книжную науку превзошли. Что же оно будет дальше? Куда мы пританцуем с колхозами?

— К коммунизму, братец. К самому настоящему. Читал я и Карла Маркса и знаменитый Манифест Коммунистической партии. Знаешь, какой конец колхозному делу? Сначала колхоз, потом коммуна — полнейшее уничтожение собственности. Не только быков, но и детей у тебя отберут на государственное воспитание. Все будет общее: дети, жены, чашки, ложки. Ты хотел бы лапши с гусиным потрохом покушать, а тебя квасом будут кормить. Крепостным возле земли будешь.

— А ежели я этак не желаю?

— У тебя и спрашивать не будут.

— Это как же так?

¹ К а з у н я — презрительно-ироническое: казак, казачишка.

² П о л и т б ю р о — здесь: название окружных или уездных органов ЧК в 1920—1921 годах.